



Женщины продают яблоки,  
стоят у дороги с корзинами, смотрят вдаль.  
В корзинах согретый солнцем белый налив.  
И женщины ждут, что завтра  
будут еда и вода,  
не рухнет небо, мимо пройдет беда,  
а белый налив ничего не ждет,  
он полон сока и жив.

Зерна в нем сладкие, и белая его плоть  
наполнена запахом августа и тепла.  
Женщины смотрят вдаль, от пыли дорога бела.  
В сумерках будет прохладно, время полоть,  
ужинать, доставать молоко и хлеба ломоть,  
молиться, чтоб завтра Богородица уберегла.

Белое яблоко хрустнет на чьих-то зубах,  
брызнет кислым соком, и зерна его упадут  
в землю, что от проплешин в траве ряба,  
в дикую кашку и резеду,  
тонким ростком проклонется по весне.

## Персефона

зимой и летом  
носила тоненькие браслеты,  
серебряные, звенящие ветром.  
наматывала свои километры —  
самолетами, поездами и автостопом.  
пила американо с миндальным сиропом,  
в придорожных заправках покупала сосиски в тесте.  
и кто-то был рядом, но никогда не вместе.  
любила банданы красного цвета.  
так было зимой и летом, зимой и летом.

ад начинался с первыми весенними днями,  
также осенними — как будто отняли  
что-то, без чего она не была человеком.  
забывалась в темное место — как клочья снега  
забывались под елки. У себя в аду она слушала только мертвых,  
говорила исключительно с ними.

на ее руках исцарапанных и на джинсах потертых  
проступали карты нездешних рек темно-синим.  
пахло болотом ее в аду, гнилым да стоячим,  
ничего там не было настоящим,  
проступали фиолетовым синяки на руках и груди,  
словно кто-то безнадежно хватал за руки,  
словно слышала голоса в бесконечном стуке  
межсезонных дождей, и они молили спасти.  
но она не могла спасти.  
и она все думала: «мама, мама,  
неужели мы с тобой искупили мало,  
мамочка моя, зачем ты меня рожала  
в это горе горькое, в осиные жала,  
в половину жизни и половину смерти,  
я же девочкой маленькой твоей — в белом конверте  
на руках у тебя лежала.  
мама, зачем ты меня оставила, недолюбила, недоспасла?  
мама, укрой меня, в аду моем нет тепла».  
и мать ее — зеленое плодородное поле —  
не спит ночами, плачет от боли,  
карта ада проступает у нее под кожей,  
и видит она все то же, и чувствует то же.  
и тянется мама к ней через мир, через желтое солнце,  
ястребом к ней несется.  
но ад в другой стороне, по другую сторону,  
и дорогу ей заступают волки да вороны,  
а и дорога становится глиняной кашицей.  
а она все бежит, и все-то ей кажется,  
что вдали на лугу ее дочка сидит и смеется,  
и к веснушчатой коже прилипло солнце,  
и самая она счастливая, самая лучшая.  
и не случилось ничего плохого — ни в коем случае,  
и они не расстались, не потерялись в разных мирах.  
и не существует ад, не существует страх.  
и обязательно — не существует смерть.

и бежит, но ей не успеть.



Она надевает розовую футболку с надписью «Ня», она надевает оранжевые носки. Окружающий мир полон ужаса и тоски, но у нее броня. Она выбирает самый дурацкий зонтик, она готовится, как боец, идущий за линию фронта, как космонавт, выходящий в открытый космос. Она надевает сережки с котами. Скоро дождь, болит голова и кости. Ей семьдесят два, и скоро ее не станет, она это знает по-осеннему остро. Она идет, дурацкая и смешная, сережками эмалевыми болтая, сосредоточенная, словно боец спецназа. Они, конечно, достанут ее, но не сразу, она успеет еще побороться. Она проходит между дворов-колодцев, мимо шумных людей, размахивающих руками, мимо злобы и зависти, мимо воды и камня, сумасшедшая, потерянная старуха. Главное —

помнить: когда станет постепенно смеркаться и ветер завоюет по-особому глухо — то поможет булавка, приколотая на лацкан, поможет розовая футболка и дурацкая шляпка, поможет ждущий дома котенок с мягкими лапками, поможет от черных, страшных, лезущих из подворотен, из водостоков, из глаз незнакомых людей, из чужой тоски.

И мир устоит, останется цел и свободен, пока на артритные ноги она натягивает оранжевые носки.



У Сереги волосы рыжи, скулы худы,  
он пришел воевать за правду в своем дому,  
но ложится на землю, дрожащую от беды,  
и по-русски ему земля говорит: «Приму».

Витька тоже повоевал, но потом ушел,  
Воевал за других. Но, когда допивает чай  
и за сердце хватается, падает грудью на стол,  
то по-русски солнце ему говорит: «Прощай».

На разбомбленном кладбище тихо, закатный свет  
на разбитый каменный лик ложится невдалеке.  
Ни единого шороха — слышится только смерть,  
и она говорит на родном, на родном языке.



Не надо, не накапливай вещей,  
Любовей, горестей и мертвецов,  
Не запасай соленья и не шей  
Приданого. Так выйдешь на крыльцо —  
А там на север тянутся уже,  
Идут, идут под синяками туч,  
Оглядываясь, все настороже,  
Везут с собой среди полей и круч  
На стареньких телегах — да гробы,  
С костями прадедов, друзей, учителей.  
И ты возьмешь свои. И вот столбы  
Потянутся, все медленней, темней.  
Туда, на север, дальше от войны,  
Нашествия врагов и саранчи,  
Туда, где дни протяжны и темны,  
И каждый гроб с собою волочит.  
И ты влачи. Другого не бери.  
Не будет никакого «там», «потом».  
Впитается в дорогу долгий хрип,  
Чтоб наши дети выросли на нем.



Мама, я сегодня проснулась и поняла, что умру.  
Я погладила толстенького кота, пожарила пару яиц,  
вышла на улицу в летнюю злую жару,  
купила мороженое, перешла Каменноостровский и  
все равно понимала, что умру, что это неотвратимо,  
что это уже можно потрогать, понюхать, попробовать языком.  
И солнце лилось с небес, и машины ехали мимо,  
и было видно ясно и далеко.  
Мама, так странно было, что ты не зовешь домой,  
что я не рисую классики, что я не в своем дворе,  
что я потерялась и непременно умру — такой  
закон непреложный выросшей детворе.  
Скоро наступит осень, мама, придет водою и листопадом,  
и листья поднимутся над полями клубками дыма.  
А я шла по Каменноостровскому, и смерть моя тоже рядом  
шла, а я была живая невыносимо.



нам делали манту, и мы его мочили,  
опасливо, тайком, эксперимента для.  
мы вырастали в то, чему нас научили  
от жвачек вкладыши и черная земля,

всосавшая в себя бессмысленные трупы  
начала девяностых, мы росли на них,  
как хищные цветы, ноктюрны в ржавых трубах,  
как спорынья на ржи, как вольный белый стих.

и выросли для войн — вот орден, вот и крестик,  
мы соль земли, и мы — ее же пережной.  
храни же нас, Господь, в сухом прохладном месте  
в коробке с прочей оловянной солдатней.